

*Всем, с кем я играл в «Подземелья
и драконы». Пусть каждый
ваш ход будет решающим.*

1

Когда доктор Парсонс перестал ходить во-круг да около и наконец-то произнес слово «рак», он так быстро перешел на другую тему, что мне показалось, будто я ослышался. Он сказал мне, что мальчики моего возраста очень хорошо поддаются лечению. С этого момента моя мать переняла инициативу в беседе, и вскоре оба пустились в пространные рассуждения о проценте выживаемости. Она находила успокоение в технических подробностях — всякий раз, когда в жизни происходило что-то страшное. Однако же если совсем по-честному, то это была не лучшая идея — через две минуты после постановки диагноза «лейкемия» сойтись на том, что «вылечится» на врачебном языке означает «протянет еще лет пять». Пять лет позволят мне дожить до девяностых в преклонном двадцатилетнем возрасте.

Дело было восьмого января 1986 года. Доктор Парсонс, под давлением со стороны моей матери, признался, что спустя пять лет после постановки диагноза приблизительно половина па-

циентов с моей разновидностью этого заболевания все еще находятся над землей. «Вылечится!» Я точно так же не хотел делать необоснованные предположения, как и доктор Парсонс, но мне казалось, что на самом деле он не дал бы мне и больше четырех недель. Впрочем, как выяснилось позже, я умер еще до наступления февраля.

Доктор Ян Парсонс был высоким, угловатым мужчиной с короткими, черными, непримечательными волосами и без малейшего намека на обладание врачебным тактом. Он выглядел чрезвычайно обеспокоенным, и у меня сформировалось впечатление — возможно, несправедливое, — что он обвинял меня в создавшемся неудобном положении, которое вынуждало его сообщить пятнадцатилетнему мальчику о том, что у того практически нет шансов дожить до двадцати лет. Впрочем, я его простил. Я и сам был высоким и угловатым, и, вероятно, у меня также не было потенциала к овладению искусством врачебного такта. В общем и целом другие люди представлялись мне гораздо большей загадкой, чем, скажем, вычисление интегралов, которое, по словам моих школьных друзей, было довольно трудным делом. Я горжусь множественным числом. Друзья. У меня их было двое. Трое, если расширить границы за пределы школьного двора и посчитать Элтона, что я и сделал. Четверо, если посчитать девушку. Чего я не сделал, по своей глупости.

Я наблюдал за тем, как разговаривали доктор Парсонс и моя мама. К этому моменту я перестал вслушиваться в суть дела и следил за их беседой, как за теннисным матчем по телевизору с выключенным звуком — матч-реванш Макинроя против Лендла¹, — они перебрасывались вопросами и ответами, словно отбивали мяч ракетками. Люди выглядят нелепо, если выключить звук и смотреть, как они танцуют без музыки. То же самое — когда они говорят бессмысленные вещи. Если игнорировать слова, то обращаешь внимание на честность эмоций, которые отражаются на лицах во время разговора. В глазах моей матери читалось необычное отчаяние.

Если бы я ее слушал, я бы не заметил этого. Она всегда брала верх, в любой ситуации, собирала факты, полностью себя контролировала. Холодный, как сталь, взгляд, строгая седина волос — мать полностью поседела, когда ей еще и тридцати не было, — плотно сжатые губы, тщательно задававшие форму любому вопросу. Но «с выключенным звуком» она выглядела так, словно вот-вот разрыдается. Это меня сильно беспокоило. На нерешительном лице доктора Парсонса я видел смесь вины и скуки. Вероятно, еще и намек на удивление глубиной познаний моей матери. Полимат — вот как ее называли. Мой отец говорил когда-то, что она знает все

¹ Джон Макинрой и Иван Лендл — американские теннисисты. (Здесь и далее прим. пер.)

обо всем. Он умер, когда мне было двенадцать. У него тоже был рак, от которого он вылечился, попав под колеса поезда.

Мой отец был знаменитым математиком. По крайней мере, настолько знаменитым, насколько могут быть математики или ученые, если их фамилия не Эйнштейн. Другие математики в его области знали его имя. Больше его никто не знал.

В день своей смерти он сказал мне:

— Уравнениям, которые управляют Вселенной, нет дела до «сейчас». Можно расспрашивать их об этом времени или о том времени, но нигде во всей их стройной математической системе ты не найдешь и намека на «сейчас». Идея одного отдельного момента, одного универсального «сейчас», которое мчится по дорожке времени со скоростью шестьдесят минут в час, врезается между секундами, выплевывая назад прошлое и с головой бросаясь в будущее... Это всего лишь артефакт сознания, наша собственная выдумка, которая космосу ни к чему.

Так мы с ним общались.

— Ник? — Очевидно, моя мать пришла к какому-то выводу, и от меня требовалось сказать «да» прежде, чем план действий будет претворен в жизнь.

— Я согласен с доктором, — сказал я.

— Ну что ж. — Доктор Парсонс потянулся к телефону, лежавшему около его блокнота. —

Я запишу вас на химиотерапию на завтра. Мы рано обнаружили заболевание, и если не медлить с лечением, то прогноз... — Он несколько побелел под стальным взглядом матери. — Э-э... Лучше.

Я не помню первую ночь, проведенную дома, а точнее, я помню лишь то, как все прокручивал в голове одну-единственную мысль: это ужас, гнавшийся за своим собственным хвостом, паралич, замаскированный под бурную деятельность.

«Оксфордский словарь английского языка» сообщил мне, что «рак» — это существительное, затем он пояснил мне, как это слово правильно произносится, после чего он заявил, что это заболевание, спровоцированное неконтролируемым делением аномальных клеток в теле. В такой формулировке не так уж и страшно. Затем он, правда, все испортил, добавив, что английское «cancer» произошло от греческого *karkinos*, «краб»: метастазы, распространяющиеся во все стороны от опухоли, своим видом напоминают множество конечностей краба.

Хотя бы не в честь паука. Если уж меня сожрут живьем, чего я, правда, отнюдь не желал, то пусть это все-таки будет краб, а не паук.

Прежде чем диагноз поставили моему отцу, «рак» был одним из множества слов, которые мелькали где-то на заднем плане, лишь изредка выделяясь на общем фоне страшилок какими-то

размытыми подробностями. «Миссис Элард? А, да у нее рак. Прогноз неутешительный». «Младший братишка Саймона? Милый, он больше не будет ходить в школу». «Болезнь с большой буквы «Р». Этого достаточно.

Затем рак превратился в монстра, который крался за моей спиной, и я шел вперед по жизни, наотрез отказываясь оглянуться, чтобы не спровоцировать его наброситься на меня. Как выяснилось, не имело никакого значения, оглянусь я или нет. На меня все равно набросились.

В больнице мне было не так страшно. Хотя статистика просто-таки кричала о том, что каждая вымощенная белой плиткой стена, каждая резиновая трубка, каждая игла и каждый пакет «химии» были признанием поражения. Эти люди не знали, как сделать мне лучше, они лишь *делали вид*, что знают. Их белоснежные халаты, стетоскопы, блестяще отрепетированное сочувствие. Их уверенность отчасти заполняла пустоту, которая оставалась после того, как моя уверенность давала деру.

Они называли это «химиотерапией», и иногда медсестры говорили: «Пора, Ник, принять лекарство» или что-то в этом духе. Но никто не считал ее лекарством. Потому что это не лекарство. Это яд.

В прошлом пациентов с сифилисом накачивали ядом. Спасибо маме, что поделилась со мной этой крुпицей информации. Не многие

пятнадцатилетние мальчики могут похвастаться такими знаниями. Если отмотать время назад, да не в масштабах моей короткой жизни, а на несколько десятилетий, то окажется, что до Второй мировой и использования пенициллина единственным действенным средством против сифилиса было накачать жертву мышьяком. Логика состояла в том, что, хотя мышьяк — это смертельный яд, он куда более смертелен для бактерий, которые вызывают заболевание, и при тщательной дозировке доктор может убить одного из вас, не убивая другого. Химиотерапия — это примерно то же самое. Может быть, эти химические вещества не входят в список фаворитов для казни знаменитых преступников, но суть та же самая. Задача — превратить мою кровь в суп, достаточно токсичный для раковых клеток, не позволяя при этом умереть мне самому.

Я лежал на чистой постели под хрусткими хлопковыми простынями в палате, в которой совершенно одинаковые кровати выстроены слева и справа, отделенные одна от другой занавесками, которые можно было задернуть для уединения. Нас было одиннадцать; еще три кровати пустовали. Примерно треть из нас выглядела так, словно нас только что схватили на улице и запихали в платье с вырезом на спине. Если честно, то приблизительно так все и произошло. Еще треть уже начала терять

волосы, у некоторых проявились угрожающего вида залысины, у других волосы проредились, как у стариков. Эти ребята выглядели неважно, мешки под глазами у них были такие, будто бы они не спали пару ночей, они были бледные и сильно потели. В основном они были моложе меня. Будь я на год старше, меня отправили бы в больницу Илинг-Дженерал, к взрослым. Оставшаяся треть уже облысела и так отоцала, что казалось, у них кости треснут от малейшего напряжения. Они вели себя как старики и старухи, лежали истощенные в своих постелях. Если они смотрели на тебя ввалившимися потускневшими глазами, можно было разглядеть череп сквозь кожу.

Распределили нас в зависимости от длительности лечения, поэтому палата выглядела как конвейерная лента, на которую с одной стороны складывали здоровых детей, а с другой принимали трупы.

Медсестра, столь привлекательная, что это доставляло мне дискомфорт, немногим старше меня, называвшая меня Никки раздражающе покровительственным тоном, налаживала мою линию. «Линией» тут называли иглу, воткнутую в вену на моей руке, замотанной примерно милей белой марли. Яд, подаваемый через пластиковую трубочку из прозрачного мешка на стойке рядом с кроватью, струился по игле. Он был ядовито-желтого цвета. Мне казалось, что так могла бы выглядеть радиоактивная моча.

Родителей и других посетителей выгоняли в половине шестого. Некоторые из них резко направлялись к двери, словно жаждали глотнуть свежего воздуха, другие еле волочились по полу, затягивая свои прощания. Некоторые держались стойко и сдерживали рыдания, другие были такими же седыми и истощенными, как и дети, которых они оставляли позади. Вместе с ними в палату входили шум и пустые обещания. Мать была с ними. Я не мог побыть в уединении, и это угнетало меня в большей степени, чем когда-либо ранее. Прошел лишь один день, но я уже выяснил, что рак словно накрывает тебя куполом, полностью отрезая от мира. Ты еще видишь окружающих тебя людей, но их слова становятся приглушенными, и они не могут к тебе прикоснуться. Я никому не звонил. Я никому ни о чем не рассказал. Да и что бы я мог рассказать?

Никто в палате особо не желал общаться, за исключением девочки по имени Ева, лежавшей на противоположной кровати. Она *слишком* много хотела общаться. Казалось, что все остальные притворялись, будто ее нет, читая свои книжки и комиксы, поедая сладости, если еще оставался аппетит, слушая больничное радио через наушники, похожие на белые пластиковые щипцы.

— Говорят, что некоторых вообще не тошнит на первой неделе, — сказала мне Ева.

Я пытался не отрывать взгляда от страниц моей книги. Я взял с собой «Основания мате-